

A man with a mustache and dark, curly hair, wearing a dark blue military coat with a fur collar and several medals, stands by a river. He is looking directly at the camera with a serious expression. The background shows a blurred city street with buildings and a bridge.

Государь, час пробил

Владимир Кожедеев

Владимир Кожедеев
Государь, час пробил
Серия «Исторические
детективы», книга 5

*<https://litres.ru/73815414>
SelfPub; 2026*

Аннотация

У Аничкова моста находят тело неизвестного. Лицо обезображено кислотой, пальцы сожжены, одежда добротная, но без меток. В кармане — лишь клочок бумаги с загадочными строками на французском: *«Государь, час пробил. Дева готова принять дары. Ждем вашего слова для танца»*.

Капитан Управы Благочиния Иван Дмитриевич Репнин, боевой офицер и проницательный сыщик, понимает: это не просто убийство. За туманными аллегориями скрывается нить, ведущая к могущественному заговору против императрицы Екатерины II. Масонские ложи, британские шпионы, опальные вельможи и интриги гатчинского двора наследника Павла — в этом клубке Репнину предстоит разобраться, рискуя не только карьерой, но и жизнью.

«Государь, час пробил» — захватывающий исторический детектив в лучших традициях Бориса Акунина и Александра Дюма, где каждый персонаж — не тот, кем кажется, а за

каждым поворотом сюжета скрывается новая тайна. Погрузитесь в атмосферу екатерининского Петербурга с его роскошью и пороками, балами и заговорами...

Содержание

Пролог. Осенняя стужа.	5
Глава 1. Воспоминания о прошлом.	11
Глава 2. Первая искра.	24
Глава 3. Тени сгущаются.	31
Глава 4. Провал и отчаяние.	40
Глава 5. Новая ловушка.	50
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Владимир Кожедеев

Государь, час пробил

Пролог. Осенняя стужа.

Санкт-Петербург, октябрь 1792 года.

Есть в нашей Северной Пальмире особая пора, когда город словно умирает, чтобы заново родиться в снегу. Это конец октября, когда Нева уже почернела и кажется тяжелой, как ртуть, а ветер с Финского залива несет не просто влагу, но колючую, пронизывающую до костей изморось. В такую ночь даже извозчики прячутся по трактирам, а фонарики, дрожа под ледяным душем, зажигают конопляное масло в жестяных плошках лишь затем, чтобы через четверть часа ветер задул жалкие огни, вновь погружая проспекты в первобытную, вязкую темень.

Я, Иван Дмитриевич Репнин, капитан лейб-гвардии Преображенского полка, волею государыни императрицы Екатерины Алексеевны приписанный к Управе Благочиния, сидел в своем присутственном кабинете на Садовой улице. Именно так, следуя мудрому «Уставу благочиния», в простонародье величали нашу сыскную службу.

Сквозь щели в старых, разохшихся от дворцовой сырости оконных рамах тянуло не просто холодом, а каким-то

гнилостным дыханием каналов. На столе передо мной чадил две сальные свечи — восковые я берег для парадных выездов. Их трепещущие языки отбрасывали на бревенчатые, крашеные охрой стены причудливые, дергающиеся тени. Казалось, что по углам комнаты, за шкафом с нумерованными делами и чучелом филина (подарком одного купца за раскрытие покражи), пляшут бесы.

В печи давно прогорели последние угли, и теперь там лишь тоскливо завывал ветер, вторивший моему дурному настроению. Я кутался в старый, пропахший табаком и порохом плащ, но согреться не мог. Дело было не в отсутствии дров — в казенных учреждениях их выдавали исправно, — а в той особой, липкой стуже, что поселяется внутри человека, столкнувшегося с запредельной, нечеловеческой жесткостью.

Передо мной на исцарапанной столешнице лежало письмо. Не изящный конверт с вензелями, какие нынче в моде у придворных щеголей. Это был грязный, измятый лист плотной вержированной бумаги, залитый бурыми пятнами (кровь?) и багровым сургучом, раскрошившимся по краям, словно запекшаяся рана. Я вглядывался в строки, выведенные витиеватым французским почерком, стараясь не дышать на бумагу, чтобы не размазать чернила.

«Государь, час пробил. Дева готова принять дары. Ждем вашего слова для танца».

Я знал французский с детства, как и всякий дворянин, но

сейчас слова казались заклинанием на языке давно сгинувших алхимиков. Ни имени, ни числа, ни обращения. Одна лишь глухая, многозначительная угроза, зашитая в аллегории. Кто этот «Государь»? Цесаревич Павел Петрович, чей Гатчинский двор с его прусскими замашками с каждым днем все больше превращался в оппозицию Зимнему? Или кто-то из масонских «высокопосвященных», коих развелось, как грибов после дождя, несмотря на недавние гонения на Новикова? Что за «Дева»? Девица, агентка, или, упаси. Господи, сама матушка-Россия, готовящаяся принять «дары» в виде переворота? И какой танец уготован империи? Менуэт при дворе или танец смерти на эшафоте?

Я откинулся на спинку жесткого стула и закрыл глаза. Письмо нашли в кармане человека, которого сегодня, в третьем часу пополудни, выудили баграми из вонючей жижи Екатерининского канала, аккуратно подле Аничкова моста. Мост этот новый, каменный, с башенками, только-только отстроили вместо старого деревянного. Место людное, торговое, днем там яблоку негде упасть. Но той ночью, когда нашли тело, шел такой ливень, что будочники попрятались в караульни, а редкие прохожие бежали, укрывшись рогожей.

Я велел принести дело и еще раз перечитал рапорт квартального надзирателя, писанный корявым, но усердным почерком с обилием ятей и твердых знаков.

«Тело мужского полу, возраста неопределенного по причине повреждения лика. Одет в кафтан тонкого аглицкого

сукна мышиноного цвету, камзол штофный, чулки шелковые. При нем найдены: платок носовой с меткой "А.П.", табакерка серебряная пустая да письмо, писанное по-французски. Креста нательного нет. Сапоги яловичной кожи сташены неизвестными злодеями. Осмотр доктора Шульца показал: смерть последовала от удара тупым предметом в висок, после чего лицо жертвы было облито крепкой водкой, сиречь кислотой купоросной с целью сокрытия личности. Пальцы рук также обожжены, дабы нельзя было снять оттисков для опознания».

Кислота. Это вам не разбойничья кистень или кабацкая поножовщина. Тут чувствовался почерк человека не просто жестокого, но расчетливого и, главное, обладающего доступом к химическим лабораториям. В Петербурге конца 1792 года кислоту в таком количестве можно было достать либо в Главной аптеке, либо в кожевенных мастерских на Охте, либо в масонской ложе, где алхимические опыты были частью ритуалов.

Я помню, как меня вызвали на место уже к вечеру. Дождь немного унялся, но ветер усилился. Подойдя к каналу, я увидел тело, лежащее на мокрых булыжниках мостовой. Даже в сумерках, при свете двух фонарей, которые держали трясущиеся городовые, зрелище было ужасающим. Там, где должно быть лицо — нос, глаза, щеки, — зияла багрово-черная, покрытая волдырями маска. Кожа слезла лохмотьями, обнажив мышцы, а в одном месте — белизну кости. Едкий за-

пах уксуса и горелого мяса еще витал в воздухе, перебивая обычную вонь канала. Я, видевший на войне с турками и оторванные ядрами конечности, и гниющие в лазаретах раны, невольно перекрестился.

— Добротная одежда, — заметил тогда подошедший ко мне доктор Шульц, старый немец в очках и заляпанном ре-агентами сюртуке. — И крой столичный. Нынче так шьет только портной Мишель на Миллионной. Но меток нет. Ни на белье, ни на подкладке. Все спороли, герр капитан. Спороли аккуратно, не в спешке.

— Значит, у них было время, — сказал я вслух в пустоту комнаты.

Я вновь взял письмо, поднеся его к самому носу, к свече. От бумаги исходил еле уловимый запах. Я напряг нюх. Нет, не гниль канала и не кислота. Это был тонкий, сладковатый аромат. Жасмин? Или гардения? Дорогие духи, такие возят из Парижа контрабандой мимо таможен. Этот запах, застывший в волокнах бумаги, был единственной ниточной, связывающей обезображенный труп с живым миром.

Я чувствовал, что холод, пронизывающий город с его гранитными набережными и стылыми дворцами, не идет ни в какое сравнение с тем ледяным ужасом, который поселился в моей душе от этого клочка бумаги. Казалось, я держу в руках ключ к чему-то чудовищному. Ключ, выкованный из чистейшей стали, но замок, к которому он подходит, скрыт за семью печатями осеннего петербургского тумана.

Где-то вдалеке, на Адмиралтейской башне, часы пробили полночь. Звук плыл над мокрыми крышами, тоскливый и протяжный. Я погасил свечи и, накинув шинель, вышел в дождливую ночь. Нужно было ехать домой, к жене, но ноги сами понесли меня в сторону порта, в маленькую кофейню на Васильевском острове, где мой друг Пьер Дюбуа обычно коротал бессонные ночи за чтением французских газет. Мне нужен был совет. Мне нужен был человек, понимающий язык намеков и тайных обществ. Завтра я начну копать. И боюсь, что раскопаю нечто такое, от чего содрогнется сама императрица.

Глава 1. Воспоминания о прошлом.

Погружаясь мыслями в минувшее, я отчетливо понял, что дело обезображенного трупа у Аничкова моста — не первая моя встреча с тьмой, прикрытой лоском столичной учтивости. Судьба готовила меня к этому испытанию исподволь, словно опытный фехтмейстер, заставляя отрабатывать выпады на менее опасных, но столь же зловещих противниках.

Я невольно перенесся памятью на два года назад, в весну 1790-го, когда Петербург еще не отошел от празднований по случаю взятия Очакова, а в воздухе уже витал душный аромат надвигающейся войны со Швецией. Именно тогда я впервые столкнулся с тем, что преступление может быть не просто злодейством, а шахматной партией, где пешками движут невидимые руки.

Дело о «Бронзовом всаднике». Лето 1790 года.

В те дни Летний сад еще не был тем чопорным местом, где нынче гуляют лишь избранные. Конечно, при Елизавете Петровне туда пускали только «прилично одетую публику», но при Екатерине Алексеевне порядки стали строже. Сад был закрыт для черни, но по воскресеньям и праздникам, ежели государыня пребывала в Царском Селе, зрители за полтину пускали и купцов средней руки, и даже мастеровых в чистых кафтанах. Именно в один из таких воскресных вечеров, когда белые ночи уже начинали уступать место сумер-

кам, в боскете близ статуи «Мир и Изобилие» нашли тело.

Тело висело на ветви старого, корявого вяза. Верёвка была не пеньковая, коей пользуются матросы и плотники, а шелковый шнур от портьеры с золотой кистью — вещь, достойная дворцовой залы. Повешенный был одет в добротный, но неброский сюртук стального цвета, какие носят приказчики иностранных купцов. В карманах — ни гроша, но и не ограблен: перстень с печаткой на пальце, табакерка, золотые запонки.

Осмотр доктора установил любопытную деталь: смерть наступила не от удушения, а от перелома шейных позвонков, словно человеку сначала свернули шею, а уж потом подвесили для вида. Убийца обладал недюжинной физической силой и хладнокровием.

Стража у главных ворот с Невы и боковых калиток клялась и божилась, крестясь на образа: ночью никто не входил и не выходил. Калитки были заперты изнутри, а садовники ночевали в караулке. Выходила мистика: убийца проник в запертый сад, убил человека и исчез, не оставив следов, словно растворился в белесом тумане Фонтанки.

Пьер Дюбуа, тогда еще только начинавший свою карьеру секретаря французского посольства, примчался ко мне на Гороховую в таком волнении, что его напудренный парик съехал набок, открывая рыжеватые волосы, чего истинный француз никогда бы не допустил.

— Иван, mon ami! — воскликнул он, хватая меня за ру-

кав. — Это катастрофа! Посыльный вёз пакет с чертежами фортификаций на Юге, в Херсоне и Очакове! Это государственная тайна! Ежели бумаги попадут к шведам или, упаси Бог, к туркам...

— Пьер, успокойся, — я налил ему рюмку анисовой. — Рассказывай толком. Кто был этот посыльный и что он делал ночью в Летнем саду?

Выяснилось, что убитый — некто Жак Оффенбах, уроженец Эльзаса, служивший курьером при посольстве. Человек он был незаметный, тихий, но исполнительный. В тот вечер он должен был доставить пакет советнику Адмиралтейств-коллегии графу Чернышеву, но на встречу не явился. Пакет исчез. А через день тело нашли в саду.

Я решил применить метод, которому выучился еще в Преображенском полку во время подавления чумного бунта в Москве: «язычную молку» — опрос всех, кто мог хоть что-то видеть или слышать, невзирая на чины и звания. В Петербурге конца XVIII века информация текла не через газеты — «Санкт-Петербургские ведомости» выходили дважды в неделю и содержали лишь казенные объявления, — а через прислугу, извозчиков, фонарщиков, садовников и торговков.

Я отправился в Летний сад ранним утром, когда служители подметали аллеи и чистили пруды от ряски. Со мной был мой верный денщик Архип, бывалый солдат, прошедший турецкую кампанию. Архип умел разговорить любого: мог и чарку поднести, и к месту словцо соленое вернуть.

Садовник Ефим, старик с лицом, изрезанным морщинами, как кора дуба, поначалу крестился и молчал. Но после того, как Архип сунул ему в мозолистую ладонь серебряный рубль с профилем императрицы, разговорился.

— Ваше благородие, — зашептал он, озираясь на мраморные статуи, словно те могли подслушать. — Ночью-то я спал в караулке с другими. Но перед рассветом, еще петухи не орали, слышал я звук. Тонкий такой, переливчатый. Будто кто на дудке играл. Только странно: вроде близко, а вроде из-под земли.

— Из-под земли? — переспросил я.

— Ну да. Аккурат от Грота.

Я насторожился. В Летнем саду при Петре Великом построили каменный грот с фонтанами и статуями. При Екатерине его перестраивали, но вход туда был закрыт для публики — там хранился садовый инвентарь. Я велел отпереть грот. Внутри пахло сыростью и прелой листвой. Мы с Архипом осмотрели все углы. И вдруг в дальнем конце, за старыми кадками, я заметил люк, прикрытый рогожей. Люк вел в подземный ход — старую дренажную трубу, проложенную еще при Анне Иоанновне.

Спустившись туда с фонарем, я обнаружил, что ход ведет за пределы сада, к заброшенному дому на набережной Мойки. Там, на земляном полу, валялся окурок сигары — а сигары в Петербурге курили только иностранцы, — и крошечный обломок. Я поднес его к свету: это был кусочек черного

дерева, часть музыкального инструмента. Обломок флейты.

— Играли ночью в саду, — пробормотал я. — Садовник слышал звук, который доносился из-под земли. Убийца заманил жертву в грот, а потом использовал подземный ход, чтобы незаметно уйти.

Дело это, впрочем, началось не в Летнем саду и не с повешенного француза. Оно началось гораздо раньше, в гостиницах французского посольства на набережной Невы, где ткалась невидимая паутина шпионажа и интриг, в центре которой сидел человек, чьё имя мне ещё предстояло узнать — господин Штальберг.

Иоганн Фридрих Штальберг, уроженец Эльзаса, родился в 1750 году в семье мелкого таможенного чиновника. Уже с детства он отличался редкой способностью к языкам — к пятнадцати годам свободно владел французским, немецким и латынью, к двадцати прибавил английский и русский, а позже выучил и шведский. Эта способность, вкупе с природной хитростью и полным отсутствием моральных принципов, предопределила его судьбу.

В Париж он прибыл в 1772 году, в разгар правления Людовика XV, когда французская дипломатия опутала Европу сетью тайных агентов и осведомителей. Молодой эльзасец поступил на службу в Министерство иностранных дел, в отдел, ведавший шифровальной работой и тайной перепиской. Именно там он впервые соприкоснулся с легендарным «Secret du Roi» — «Королевским секретом», тайной

разведывательной сетью французского короля, действовавшей в обход официального внешнеполитического ведомства. Штальберг быстро понял: истинная власть — не в громких титулах, а в обладании информацией.

В 1785 году, благодаря протекции влиятельного покровителя, он получил назначение в Санкт-Петербург в качестве советника французского посольства. Официально он занимался культурными связями и переводами. Неофициально — координировал сбор сведений о русской армии, флоте и политических настроениях при дворе Екатерины II. К моменту описываемых событий Штальбергу было около сорока лет — сухой, желчный человек с бегающими глазами, одевавшийся с претензией на роскошь, но во всём чувствовалась какая-то неуловимая неустроенность, словно он жил на чемоданах, всегда готовый к бегству.

В Петербурге Штальберг быстро оброс связями. Он посещал масонские ложи шведской системы — те самые, что находились под патронажем Великой ложи Швеции и были особенно влиятельны в русской столице в конце 1780-х годов. В 1788 году, когда началась русско-шведская война, среди масонов шведской системы сложилась парадоксальная ситуация: они не знали, кому сохранять лояльность — императрице, которой присягали, или великому магистру Шведского ордена Карлу, командовавшему вражеским флотом. Штальберг умело использовал эту раздвоенность.

Его главным связным в Петербурге был некий барон фон

Розен — остзейский немец, формально служивший в русской армии, но втайне симпатизировавший шведской короне. Именно через Розена Штальберг передавал добытые сведения в Стокгольм. Система была отлажена: Штальберг, имея доступ к дипломатической переписке французского поверенного в делах Эдмона Шарля Жене, снимал копии с наиболее важных депеш, касавшихся русско-турецкой и русско-шведской войн. Затем эти копии через Розена попадали к шведскому посланнику, а оттуда — лично королю Густаву III.

Густав III, правитель амбициозный и авантюрный, мечтал о реванше после поражений в войне с Россией и активно искал любые сведения, способные дать ему преимущество. Штальберг стал для него ценнейшим источником.

К весне 1790 года Штальберг получил задание особой важности: раздобыть чертежи новых русских фортификаций на юге, в Херсоне и Очакове. Эти чертежи, составленные инженерами под руководством самого Суворова, должны были быть переданы из Адмиралтейств-коллегии французскому посольству — якобы для ознакомления союзников. На самом деле французы планировали передать их туркам, с которыми Россия всё ещё находилась в состоянии войны.

Штальберг, однако, решил сыграть двойную игру. Вместо того чтобы передать чертежи в Париж, он намеревался продать их шведам. Сумма, предложенная Густавом III через барона Розена, была баснословной — десять тысяч риксдале-

ров золотом. Эти деньги позволили бы Штальбергу навсегда покинуть Петербург, купить имение в Эльзасе и зажить жизнью состоятельного буржуа, забыв о шпионских играх.

Курьером был выбран Жак Оффенбах, молодой эльзасец, служивший при посольстве. Штальберг знал его с детства — они были земляками, и советник рассчитывал на его молчаливость и преданность. Оффенбах должен был забрать пакет с чертежами у чиновника Адмиралтейств-коллегии и доставить его в условленное место — в Летний сад, где Штальберг собирался встретиться с ним ночью, якобы для передачи документов дальше по цепочке.

Но что-то пошло не так. То ли Оффенбах заподозрил неладное и решил шантажировать своего патрона, то ли случайно узнал о двойной игре Штальберга и пригрозил разоблачением. В ночь встречи в Летнем саду между ними произошла ссора. Штальберг, обладавший недюжинной физической силой, в ярости свернул курьеру шею, а затем, чтобы замести следы, подвесил тело на ветви вяза, инсценировав самоубийство. При этом он забрал пакет с чертежами, но в спешке не заметил, что у входа в грот обломился кусочек его флейты — той самой, на которой он играл, подавая условный сигнал Оффенбаху.

Я навел справки о владельце заброшенного дома на Мойке, куда вёл подземный ход из Летнего сада. Им оказался господин Штальберг. Дом этот он приобрёл через подставное лицо — барона Розена — и использовал как перевалочный

пункт для шпионской деятельности.

Не теряя времени, нанес визит советнику, господину Штальбергу. Его дом на Мойке был обставлен с претензией на роскошь, но во всем чувствовался какой-то неуловимый беспорядок, словно хозяин жил на чемоданах. Штальберг принял меня в кабинете, заставленном нотами и музыкальными инструментами. Это был сухой, желчный человек с бегающими глазами.

— Капитан Репнин, — процедил он, не предлагая сесть.
— Чем обязан?

Я без предисловий показал ему обломок флейты.

— Не сообразоволите ли взглянуть, господин советник? Не ваша ли это флейта?

Штальберг побледнел. Он подошел к витрине, где лежала коллекция инструментов, и сделал вид, что осматривает их.

— Странно, — сказал он дрогнувшим голосом. — Не хватает именно этой детали. Вероятно, выпала при переезде.

— Или в подземном ходе Летнего сада, — спокойно добавил я.

Дальнейшее было делом техники. Обыск в доме Штальберга выявил похищенные чертежи, спрятанные в переплете нотной тетради с сонатами Скарлатти. Под давлением улики советник признался: он давно работал на шведскую корону, а Жак Оффенбах случайно раскрыл его игру. Убийство было совершено, чтобы завладеть чертежами и заодно избавиться от свидетеля.

Екатерина Алексеевна, коей доложили о раскрытии шпионской сети, изволила принять меня в Царскосельском дворце. Она сидела в утреннем пеньюаре, с чашкой кофе в руке, и смотрела на меня с тем особым, пронизывающим вниманием, которое заставляло трепетать даже седых генералов.

— Капитан, — сказала она своим низким, грудным голосом, — ты видишь то, чего другие не замечают. Это редкий дар. Береги его. И знай: отныне я буду поручать тебе дела особой государственной важности. Данные слова стали моей путеводной звездой на долгие годы.

Что же до Штальберга, то его судили закрытым судом и приговорили к пожизненному заключению в Шлиссельбургской крепости — той самой, откуда ещё недавно освобождали узников екатерининского царствования. Барон Розен, как я узнал позже, был убит при загадочных обстоятельствах в Стокгольме год спустя — говорили, что его убрали свои же, опасаясь разоблачения шведской агентурной сети.

Так завершилось моё первое серьёзное дело. Оно научило меня главному: в мире тайной дипломатии и шпионажа нет места случайностям. За каждым преступлением стоит своя, пусть извращенная, но логика. И эту логику нужно понять, чтобы разорвать паутину.

Дело о «Ночном аптекаре». Осень 1791 года.

Второе дело, которое окончательно укрепило мою репутацию, случилось год спустя, в дождливую осень 1791-го. В Петербурге тогда стояла странная, гнилая погода, и, словно

в такт ей, в купеческих кварталах у Сенной площади начали умирать люди. Сначала лавочник, торговавший скобяным товаром. Потом его сосед, мясник. Затем вдова-процентщица, державшая мелочную лавку.

Смерти были похожи: человек вдруг начинал жаловаться на жжение в конечностях, потом его охватывали судороги, лицо синело, и в течение нескольких часов он умирал в страшных мучениях. Доктора разводили руками: сердце, говорили они, или удар от «дурной крови». Но квартальный надзиратель, старый служака Афанасий Силыч, заподозрил неладное.

— Ваше благородие, — доложил он мне, теребя в руках треуголку. — Все они были людьми крепкими, хоть и в летах. И все померли одинаково. И еще одна странность: перед смертью каждого из них посещал лекарь. Молодой немец, Готлиб Штоффель. Лечил, говорит, от нервов.

Я навел справки. Готлиб Штоффель действительно был дипломированным лекарем, учился в Геттингене, практиковал в Петербурге около года. Жил скромно, но в долгах не состоял. Принимал на дому, в съемной квартире на Вознесенском проспекте.

Я отправился к нему под видом пациента, жалующегося на мигрени. Штоффель оказался молодым человеком лет двадцати пяти, с бледным, одутловатым лицом и холодными, как у рыбы, глазами. Он внимательно меня выслушал, пощупал пульс и прописал «успокоительные капли собственного

изготовления».

Я отнес капли в Главную аптеку на Невском, к знакомому провизору, старому немцу Гансу Мейеру. Тот, повертев склянку, понюхав и капнув на язык, вдруг побледнел и перекрестился.

— Негг капитан, — прошептал он. — Это не лекарство. Это медленный яд. Вытяжка из спорыньи. Грибок, что растет на ржи. Ежели принимать его долго, начинаются судороги, омертвление конечностей, а потом — смерть. В малых дозах его иногда используют повитухи для остановки кровотечений, но здесь доза... чудовищная.

Я тут же поехал к Штоффелю с обыском. В его лаборатории, за шкафом с книгами по медицине, мы обнаружили потайной ящик. Там лежали пузырьки с темной жидкостью, а главное — тетрадь в кожаном переплете. Это был дневник.

Из дневника открылась страшная правда. Двадцать лет назад отец Готлиба, скромный аптекарь в Риге, был разорен компанией петербургских купцов, которые обманом завладели его делом. Отец умер в нищете, а мать покончила с собой. Готлиб поклялся отомстить. Он выучился на лекаря, приехал в Петербург и методично, одного за другим, отравлял тех самых купцов, что погубили его семью. В дневнике были указаны имена, даты, дозы и даже описания мучений жертв, сделанные с ледяным клиническим хладнокровием.

Штоффеля арестовали. На допросе он не отрицал своей вины, но и не раскаивался.

— Я лишь исполнил правосудие, — сказал он, глядя на меня своими рыбьими глазами. — Ваши законы не наказали их за мошенничество. Я наказал.

Дело это произвело в столице фурор. О нем говорили в гостиных и на рынках. Императрица, узнав подробности, заметила с грустью: «Страшно, когда обида превращает человека в зверя. Но еще страшнее, когда эта обида имеет основания».

Так я получил два урока. Первый: преступник часто не тот, кем кажется. Второй: за каждым злодеянием стоит своя, пусть извращенная, но логика. И эту логику нужно понять, чтобы разорвать паутину.

Теперь, глядя на залитое сургучом письмо из кармана обезображенного кислотой трупа, я понимал: и здесь скрыта своя логика. И она куда страшнее, чем месть одиночки-отравителя или продажность шпиона. Здесь пахло заговором против самой империи.

Глава 2. Первая искра.

Письмо требовало принятия решения. Медлить было нельзя не только по долгу службы, но и по какому-то внутреннему, почти звериному чутью, выработанному за годы сыска. Чутью, которое кричало: промедление смерти подобно. Но чтобы разгадать шифр этого проклятого письма, мне нужен был человек иного склада ума. Не солдат, не дознаватель, а дипломат. Человек, понимающий язык намеков, эзопов язык, на котором изъясняются в высшем свете и, что еще важнее, в тайных обществах.

Этим человеком был мой давний друг и сослуживец — Пьер Дюбуа. Судьба свела нас еще в русско-турецкую кампанию, когда он, молодой и пылкий атташе французской миссии, был прикомандирован к штабу князя Потемкина. Там, под свист ядер и в дыму бивачных костров, родилась наша дружба, скрепленная не только общими опасностями, но и удивительным сходством взглядов. Он, француз до мозга костей, любил Россию какой-то странной, восторженной любовью, а я, русский дворянин, ценил в нем ту галльскую ясность мысли, которой порой так не хватало нашей тяжело-весной бюрократии. В России его звали Петром Ивановичем, и это имя подходило ему куда больше, чем вычурное «Пьер». Он стал своим в Иностранной коллегии, где ведал перепиской с европейскими дворами и, как никто другой,

знал все подводные течения дипломатического мира.

Встречу я назначил не в присутствии, где у стен есть уши, и не в его квартире на Галерной, где швейцары запоминают каждого гостя, а в кофейне. Заведение это, которое держал обрусевший грек Деметрий на Невском проспекте, неподалеку от Гостиного двора, было местом примечательным. Днем здесь толпились купцы, обсуждавшие цены на пеньку и юфть, и чиновники средней руки, пившие дорогой «кофе» для просветления головы. Но к вечеру публика менялась. В полутемном зале, пропитанном густым ароматом аравийских зерен, ванильного табака и корицы, за высокими столиками укрывались те, кому нужно было переговорить без свидетелей. Свет от сальных свечей в жестяных подвесах едва пробивал табачный дым, а гул голосов и стук медных турок надежно глушили любые откровения.

Я занял дальний угол, заказал две чашки крепчайшего кофе по-турецки — густого, черного, как деготь, и сладкого до приторности, как любил Пьер, — и стал ждать. За окном, за мутными от дождя и копоты стеклами, мелькали тени прохожих, грохотали по булыжнику колеса экипажей. Петербург жил своей обычной промозглой жизнью, не подозревая о том, что где-то рядом зреет беда.

Пьер вошел, стряхивая капли с плаща, и, заметив меня, быстрым, цепким взглядом окинул зал. Он был в штатском, темно-синем сюртуке, но выправка выдавала в нем человека, привыкшего к дисциплине. Сев, напротив, он молча по-

додвинул к себе чашку и сделал глоток, поморщившись от удовольствия.

— Ну, Иван, — сказал он по-русски почти без акцента, лишь слегка грассируя, — по твоему лицу вижу, что случилось нечто из ряда вон. Ты мрачнее тучи над Кронштадтом.

Я ничего не ответил, лишь выложил на липкий от пролитого кофе стол измятое письмо. Пьер взял его двумя пальцами, словно боялся испачкаться, поднес к свече и начал читать. Сначала его брови лишь чуть приподнялись — обычное профессиональное любопытство. Но по мере того, как он вчитывался в витиеватые французские строки, лицо его менялось. Кровь отхлынула от щек, а в глазах, обычно веселых и насмешливых, появился тот самый холод, который я видел у людей, заглянувших в бездну.

Он отложил письмо и несколько секунд смотрел на трепещущий огонек свечи, словно видел там что-то, недоступное моему зрению.

— «Дева»... — прошептал он наконец, и это слово прозвучало не как имя, а как приговор. — Это не женщина, Иван. Это не метафора в привычном нам светском смысле. Так «вольные каменщики», масоны, именуют ложу «Астрей».

— «Астрей»? — переспросил я, чувствуя, как что-то ледяное сжимает горло. Имя богини справедливости, покинувшей землю в железном веке.

— Именно, — Пьер нервно обвел пальцем край чашки. —

Ложа Великая, Провинциальная, мать всех лож в России. Формально ее деятельность после дела Новикова притихла, но это лишь затишье перед бурей. Ты же знаешь, что масоны обожают иносказания. «Дева, готовая принять дары», — это ложа, готовая принять в свои ряды нового могущественного члена или, что хуже, дать приют заговорщикам. А «Государь»... В их иерархии это не монарх, а Досточтимый Мастер ложи. Тот, кто держит молоток и правит собранием.

— Кто он? — спросил я прямо, глядя в его испуганные глаза. — Ты знаешь этих людей?

Пьер схватил меня за запястье. Его пальцы были холодны как лед.

— Иван, умоляю тебя, ради всего святого, ради твоей жены Анны, не лезь в это! — зашептал он с такой страстью, что на нас начали оглядываться сидельцы за соседними столиками. — Это не просто шулера, не контрабандисты, не продажные писцы из Сената. Это люди, стоящие у самого подножия трона. Их власть не в чинах и орденах, которые висят у них на груди на голубых и красных лентах, а в тех невидимых нитях, которыми они опутали двор, гвардию и даже Иностранную коллегию. Я лишь краем уха, да и то под страшным секретом, слышал о неких «парадах» в загородном дворце на Петергофской дороге. О собраниях, куда приезжают в закрытых каретах без гербов. Там не играют в карты и не танцуют мазурку. Там решают судьбы империи.

— Пьер, — я высвободил руку и посмотрел на него с той

твердостью, которую воспитала во мне гвардейская муштра. — Ты знаешь мою историю. Я присягал не людям, а державе и Матушке-Государыне Екатерине Алексеевне. Ежели против нее плетется заговор, а этот обезображенный кислотой человек у Аничкова моста — лишь первая жертва или сорвавшаяся пешка в их игре, то мой долг не прятаться за твои страхи, а выжечь эту заразу каленым железом. Я не могу допустить, чтобы кровь снова пролилась на гранитные мостовые Петербурга, как это было при воцарении нынешней государыни.

Пьер долго молчал, опустив голову. Кофе в чашках остыл, покрывшись маслянистой пленкой. Где-то в глубине зала заиграли на расстроенном клавикорде, и этот звук был тосклив, словно осенний ветер.

— Хорошо, — выдохнул он наконец, и я увидел, как по его виску скатилась капля пота. — Ты прав. Но знай, что этой ночью мы оба подписали себе смертный приговор, просто еще не знаем, когда палач зачитает его вслух.

Он наклонился ко мне так близко, что я почувствовал запах табака и мятных леденцов.

— Имя, которое тебе нужно, — прошептал он, — Иван Иванович Шувалов.

Я вздрогнул. Не от страха, а от осознания масштаба фигуры. Иван Иванович Шувалов. Бывший фаворит покойной императрицы Елизаветы Петровны. Человек, который вместе с Ломоносовым основывал Московский универси-

тет. Меценат, просветитель, покровитель наук и художеств. Вольтер посвящал ему стихи. Сейчас он жил в своем роскошном дворце на Невском, окруженный ореолом старческой мудрости и всеобщего уважения. Он был вне подозрений. Его считали безобидным старцем, доживающим век в окружении картин Ротари и книг Дидро.

— Шувалов? — переспросил я. — Но он же старик! Он давно отошел от дел.

— Именно это и делает его идеальной ширмой, — горько усмехнулся Пьер. — Или идеальным вождем. У него есть имя, связи и, главное, неутоленная жажда власти. Он был первым человеком при Елизавете, а теперь он лишь тень в углу Эрмитажа. Думаешь, ему это нравится? Думаешь, его просвещенный ум смирился с тем, что империей правит немецкая принцесса, а не исконно русские вельможи, сплотившиеся вокруг наследника Павла Петровича?

Этого было достаточно. Картина начала складываться, как мозаика в полу Исаакиевского собора. Письмо, найденное у трупа. Массонская ложа «Астрея». И фигура Ивана Шувалова — человека, чье имя было символом золотого века елизаветинского барокко.

Я допил остывший кофе. На вкус он был как горькое лекарство.

— Благодарю, Пьер, — сказал я, поднимаясь. — Ты дал мне нить. Теперь мой черед распутывать клубок.

— Иван, — окликнул он меня, когда я уже накидывал

шинель. В его голосе звучала мольба. — Будь осторожен. Эти люди не остановятся ни перед чем. Они уже убили раз, облив лицо несчастного купоросным маслом. Подумай, что они сделают с тем, кто встанет у них на пути.

Я кивнул и вышел в холодную, пронизывающую ночь Петербурга. Дождь наконец перестал, но ветер с залива стал еще злее. Он трепал полы шинели и, казалось, смеялся мне в спину. Но я уже не чувствовал холода. Внутри меня горел тот самый огонь, который когда-то вел меня в атаку под стенами Очакова. Огонь, который не гасят ни дождь, ни страх.

Мне нужно было действовать. И первым шагом было узнать, что за «парады» проходят в загородном дворце Ивана Ивановича Шувалова.

Глава 3. Тени сгущаются.

Решение было принято, и пути назад не существовало. На следующее же утро после встречи с Пьером в кофейне Де-метрия я приступил к осуществлению первой части моего плана. Мне нужны были глаза и уши внутри дома Шувалова — не просто соглядатай, готовый донести о виденном, а человек, способный войти в доверие к прислуге, незаметно осмотреться и, главное, остаться в живых. Для такого дела требовался не просто смельчак, а мастер перевоплощения, каких в сыском деле единицы.

Выбор мой пал на человека по прозвищу «Кулик». Настоящее имя его было Алексей, фамилия — Свиридов, но из-за длинного, острого носа и привычки склонять голову набок, высматривая добычу, его так и прозвали. Кулик был из бывших дворовых людей разорившегося князя, человек тертый, прошедший огонь, воду и медные трубы. Он умел читать и писать — редкое достоинство для человека его сословия, — знал французский настолько, чтобы понимать приказы господ, и обладал актерским даром, который не раз выручал меня в щекотливых делах. Именно он сыграл роль обедневшего дворянина, когда мы ловили шайку фальшивомонетчиков у Смоленского кладбища.

Я вызвал Кулика в Управу и, не вдаваясь в излишние подробности, обрисовал задачу.

— Значит так, Алексей, — сказал я, разворачивая перед ним на столе план части города. — Пойдешь в дом его высокопревосходительства Ивана Ивановича Шувалова, что на углу Невского и Малой Садовой. Особняк знаешь?

— Как не знать, барин, — Кулик усмехнулся, почесав острый подбородок. — Хоромы — что твой дворец. Говорят, там картин больше, чем у самой государыни.

— Вот именно. Пойдешь просителем. У Шувалова слывет репутация мецената и благотворителя. Скажешь, что ты бывший камердинер князя Голицына, впавший в немилость, и ищешь место. Документы тебе справят. Твоя задача: устроиться в дом лакеем или хотя бы истопником. И смотреть в оба. Меня интересует всё: кто приезжает в каретах без гербов, о чем шепчутся в людской, куда хозяин ездит по ночам. Особливо важны любые разговоры о «ложе», «парадах», «Астрее» или «Государе».

Кулик выслушал, кивнул, спрятал за пазуху ассигнацию на первое время и бесшумно исчез за дверью, словно его и не было. Я знал, что, если кто и способен проникнуть в логово зверя незамеченным, так это он.

Чтобы понять, против кого мы выступаем, нужно описать сам особняк Ивана Ивановича. Дом Шувалова на Невском проспекте был не просто жилищем вельможи — это был символ ушедшей эпохи, памятник самому себе. Построенный в пышном елизаветинском барокко, с лепными кариатидами, поддерживавшими балкон, и золочеными вазонами

на парапете, он словно бросал вызов строгому классицизму, входившему в моду при Екатерине. Внутри, по слухам, хранилось собрание живописи, которому завидовал сам Эрмитаж: полотна Рембрандта, Рубенса, Пуссена. В библиотеке — редчайшие фолианты, привезенные из Парижа и Лондона. Но за этим фасадом просвещенного аристократа, как я начинал подозревать, скрывалась паутина тайных сношений, опутывающая столицу.

Кулик, как и было условлено, явился в дом под видом пропитателя. Его пропустили. Дворецкий, важный старик в напудренном парике и ливрее с галунами, долго расспрашивал его о прежней службе, но документы, искусно подделанные моим писарем, не вызвали подозрений. Кулика определили в младшие лакеи — носить дрова, чистить серебро, подавать плащи гостям. Должность низкая, но позволявшая видеть всех, кто входит и выходит из дома.

Первый же его доклад, переданный через уличного разносчика пирогов (наша обычная система связи), подтвердил мои худшие опасения.

«Барин, — писал Кулик корявым, но разборчивым почерком. — В доме творится неладное. Третьего дня ночью приезжала карета без огней и без гербов. Из нее вышли трое в черных плащах. Лиц не видать — шляпы надвинуты. Хозяин принял их в малом кабинете. Прислугу отослали. Меня не допустили, но ключница Марфа слышала через дверь слово "парад". А еще говорят, что в подвале дома есть по-

тайной ход. Куда ведет — никто не знает, кроме доверенных людей».

Я сжег записку в пламени свечи и задумался. Потайной ход в подвале особняка на Невском — это уже не просто слухи, это серьезно. В Петербурге с его болотистыми почвами подземные галереи редкость, но там, где они есть, они служат для самых темных дел. Я велел Кулику продолжать наблюдение и, если удастся, попытаться разузнать о ходе подробнее.

Четыре дня от Кулика не было вестей. На пятый день я начал беспокоиться. На шестой — отправил Архипа к дому Шувалова под видом торговца вениками. Архип вернулся мрачнее тучи.

— Барин, — доложил он, переминаясь с ноги на ногу. — Кулика в доме нет. Я спрашивал у дворника осторожно, мол, землячок мой служил тут, не видали? Дворник сперва отнекивался, а потом, как гривенник ему сунул, сказал: «Уехал твой землячок. С вещами. Ночью собрался и уехал, ни с кем не простившись».

— С вещами? — переспросил я, чувствуя, как холодная рука сжимает внутренности. Кулик не мог уехать по своей воле. Он был не из тех, кто бросает службу, особенно зная, что за ней стоит капитан Управы Благочиния. Его исчезновение означало только одно: он раскрыт. И либо убит, либо — что еще хуже — находится в руках людей, которые умеют развязывать языки без лишнего шума.

Я приказал Архипу обойти всех больничных сторожей и

мортуариев, но тело Кулика так и не нашли. Он просто исчез, растворился в промозглом воздухе осеннего Петербурга, как исчезали десятки людей в то беспокойное время. Меня мучила совесть. Я послал человека на смерть. Но еще сильнее меня мучила мысль, что враг теперь знает о моем интересе к дому Шувалова. И ждет ответного хода.

Ответный ход не заставил себя ждать. Через два дня после исчезновения Кулика, когда серый, унылый дождь вновь зарядил на весь день, превращая улицы в реки грязи, в двери моего кабинета в Управе постучали.

— Войдите, — сказал я, не отрываясь от рапорта о краже в Гостином дворе.

Дверь отворилась бесшумно, и на пороге возник человек. Я сразу понял, что это не обычный посетитель. Одет он был во всё черное: черный сюртук тонкого сукна без единого украшения, черный жилет, черный шейный платок. Даже перчатки на его руках были из черной замши — редкость, стоившая немалых денег. Лицо его, бледное, словно вылепленное из воска, казалось неподвижным, а глаза — темные, глубоко посаженные — смотрели с холодной, почти нечеловеческой пристальностью. Он не был стар, но и молодости в нем не чувствовалось. Это было лицо человека, который давно умер душой, оставив лишь оболочку для исполнения чужой воли.

Он не представился. Вместо приветствия он прошел к моему столу, не дожидаясь приглашения, и положил передо

мною плотный конверт из дорогой вержированной бумаги. Запах сургуча — тяжелый, с примесью мускуса — ударил в нос.

— Господин капитан Репнин, — произнес он тихим, свистящим голосом, в котором не было ни угрозы, ни просьбы, лишь констатация факта. — Вам следует ознакомиться с содержанием.

Я вскрыл конверт. Внутри лежал сложенный вчетверо лист. Я развернул его, пробежал глазами — и почувствовал, как кровь отливает от лица.

Это была долговая расписка. Составленная по всей форме, как того требовал Вексельный устав 1729 года. В ней черным по белому, каллиграфическим почерком писаря, значилось: «Я, нижеподписавшийся, Пьер Дюбуа, секретарь Иностранной коллегии, обязуюсь уплатить господину Н. Н. сумму в десять тысяч рублей ассигнациями в срок до Рождества Христова 1792 года». Подпись Пьера, его личная, с характерным росчерком, была заверена печатью нотариуса Кузнецова, чью контору на Литейном я хорошо знал.

Десять тысяч рублей. Сумма колоссальная. Для сравнения: годовое жалование капитана гвардии составляло около трехсот рублей. Пьер мог бы расплатиться, только продав всё имущество, включая последнюю рубашку, и всё равно остался бы должен. А невыплата такого векселя влекла за собой, согласно закону, немедленное заключение в долговую яму — ту самую каменную нору при Съезжем дворе, где

узники гнили годами, питаюсь подаванием и ожидая милости родственников. Для дворянина и дипломата это означало не просто нищету, но полное и окончательное уничтожение чести и карьеры.

— Откуда это у вас? — спросил я, стараясь, чтобы голос не дрожал.

Незнакомец чуть склонил голову набок, словно изучая мою реакцию.

— Ваш друг, мсье Дюбуа, очень любит карты, — произнес он тем же ровным, бесстрастным тоном. — К несчастью для него, он слишком азартен. И в некоем доме на Васильевском острове, где собирается приличное общество, он имел несчастье проиграть означенную сумму весьма терпеливому кредитору. Теперь этот кредитор — мы.

Я молчал, переваривая услышанное. Пьер играл. Это было возможно. Я знал за ним эту слабость, но не думал, что она заведет его в такую пропасть. Или, что вероятнее, его заманили в эту пропасть намеренно.

— Условия просты, господин Репнин, — продолжил визитер, делая шаг назад, словно давая мне пространство для размышлений. — Завтра к полудню вы подаете рапорт начальнику Управы. В рапорте вы указываете, что убитый у Аничкова моста — беспаспортный бродяга, жертва пьяной драки. Дело закрывается за отсутствием состава преступления. Письмо, найденное при нем, приобщается к делу как «не имеющая значения личная записка романтического со-

держания». И вы навсегда забываете о существовании Ивана Ивановича Шувалова и его гостей.

Он сделал паузу, и в этой паузе я услышал, как за окном, на Садовой, извозчик отчаянно лупит кнутом загнанную лошадь.

— В противном случае, — закончил он, и в его голосе впервые прорезалось что-то похожее на живое чувство — наслаждение властью, — этот вексель будет предъявлен к взысканию завтра же. Ваш друг Пьер Дюбуа будет арестован и препровожден в долговое отделение Санкт-Петербургской градской тюрьмы. Вы знаете, что это за место. Крысы, сырость и кандалы. Там он не протянет и года. Его дипломатическая карьера, его честь, его жизнь — всё будет кончено. И виноваты в этом будете вы, потому что не захотели проявить благоразумие.

Он развернулся и направился к двери. У порога он остановился и, не оборачиваясь, бросил через плечо:

— Подумайте хорошенько, господин капитан. Дружья приходят и уходят, а долг перед самим собой остается. Не делайте глупостей. У вас есть время до завтрашнего утра.

Дверь за ним закрылась так же бесшумно, как и открылась. Я остался один. В кабинете висел всё тот же запах мускусного сургуча, смешанный с сыростью и чадом сальных свечей. Я держал в руках расписку, и пальцы мои слегка дрожали — не от страха за себя, а от бессильной ярости и ужаса за друга.

Западня захлопнулась с лязгом, достойным волчьих капканов, что ставят в сибирской тайге на медведя. Меня не убили, не ранили, меня шантажировали, и делали это с таким изящным цинизмом, на какой способны лишь люди, привыкшие играть судьбами, как шахматными фигурами.

Что мне было делать? Спасти Пьера, предав свой долг, или спасти долг, погубив друга? Я смотрел на пляшущий огонек свечи и не находил ответа. В голове крутились строки того проклятого французского письма: «Государь, час пробил. Дева готова принять дары...». Казалось, этот час пробил и для меня. И какой танец мне предстоит исполнить, я пока не знал.

Глава 4. Провал и отчаяние.

Я не спал всю ночь. Свечи догорели до медных подсвечников, и в комнате воцарился густой, удушливый мрак, прорезаемый лишь багровыми отблесками угасающих углей в печи. Я сидел в кресле, сжимая в руке проклятую расписку, и передо мной, словно в кривом зеркале, проносились картины одна мрачнее другой. Пьер в долговой яме — каменном мешке с крысами и гнилой соломой, куда бросают несостоятельных должников и где люди умирают от чахотки быстрее, чем на каторге. Его карьера, построенная годами службы и интриг, разбита вдребезги. Его имя, имя дворянина и дипломата, опозорено навеки. И всё это — из-за меня. Из-за того, что я втянул его в это дело, не подумав о последствиях.

Но еще страшнее была другая мысль: если я сдамся, если я напишу лживый рапорт и закрою дело, то дам заговорщикам полную свободу действий. Труп у Аничкова моста, обезображенный кислотой до неузнаваемости, так и останется безымянным. Письмо с туманными угрозами — пылиться в архиве. А люди, стоящие за этим, продолжат плести свою паутину, пока не наступит час «танца», о котором говорилось в записке. И тогда прольется кровь. Возможно, кровь самой императрицы. И на моих руках она тоже будет.

К утру я принял решение. Это было мучительное, выстраданное решение, но единственно возможное для человека

чести. Я не мог предать Пьера. Но я не мог предать и присягу.

С первыми лучами холодного октябрьского солнца, едва пробивавшимися сквозь свинцовые тучи, я велел заложить экипаж и поехал на Галерную улицу, где Пьер снимал квартиру в доме купца Лопатина.

Пьер встретил меня в халате, с помятым, осунувшимся лицом. Было видно, что он тоже не спал. В комнате царил беспорядок: на столе валялись вскрытые бутылки рейнвейна, рассыпанные карты, перья и какие-то бумаги. Увидев меня, он вздрогнул и опустил глаза.

— Ты уже знаешь, — сказал он глухо, не спрашивая, а утверждая.

Я молча положил на стол расписку. Он даже не взглянул на нее. Он рухнул в кресло, обхватив голову руками, и несколько минут сидел неподвижно, словно окаменев. Потом заговорил. Голос его был тих и прерывист, как у тяжелобольного.

— Ваня, прости меня. Прости, если сможешь. Я хотел как лучше. Я думал, что смогу выведать у них что-то полезное. После нашего разговора в кофейне я решил, что должен помочь тебе не только советом, но и делом. Я знал, что люди Шувалова иногда собираются в одном доме на Васильевском острове, у мадам Фрич, где играют по-крупному. Я подумал: если я войду в их круг, если стану для них своим, я узнаю больше. Я поехал туда три дня назад.

Он замолчал, собираясь с силами.

— Там был тот самый человек в черном, что приходил к тебе. Он назвался бароном фон Штерном, хотя я уверен, что это имя такое же фальшивое, как и его титул. Были и другие — люди с лицами, которые ничего не выражают. Мы играли в фараон. Сначала мне везло. Я выигрывал, и мне наливали шампанского. Много шампанского. Потом я вдруг почувствовал, что мысли путаются, а перед глазами всё плывет. Я хотел встать и уйти, но ноги не слушались. Фон Штерн предложил сыграть на «доверие» — без денег, под честное слово. Я согласился. Я проигрывал раз за разом, но мне казалось, что это просто игра, что завтра мы сочтемся. А потом... потом он подsunул мне бумагу и велел подписать. Я, как в тумане, поставил подпись. Я даже не прочитал, что там написано.

Он поднял на меня глаза, полные такого отчаяния, что у меня сжалось сердце.

— Они опоили меня, Ваня. Я уверен. В шампанское что-то подмешали. Какую-то дурман-траву или маковое молоко. Я не игрок. Я не мог проиграть десять тысяч. Это невозможно!

— Я знаю, Пьер, — сказал я, кладя руку ему на плечо. — Я знаю, что ты не виноват. Но что сделано, то сделано. У нас есть только один выход: я должен продолжать расследование. Если я найду доказательства преступлений Шувалова и его шайки, твоя расписка потеряет силу. Никто не посмеет

требовать долг с человека, который помог раскрыть государственный заговор.

— Но они же предупредили тебя, — прошептал Пьер. — Они сказали, что погубят меня, если ты не отступишься.

— Они сказали. Но они не знают, с кем имеют дело.

Вернувшись в Управу, я сел за рапорт. Это был самый трудный документ в моей жизни. Я должен был, с одной стороны, показать, что веду расследование и не сижу сложа руки, а с другой — не выдать истинного направления поиска. Я должен был создать у начальства впечатление, что дело движется, но при этом не спугнуть заговорщиков раньше времени.

Я писал медленно, тщательно взвешивая каждое слово.

«По факту обнаружения тела неустановленного мужского пола близ Аничкова моста произведены следующие действия: опрошены жители окрестных домов, извозчики, будочники и ночные сторожа. Свидетелей преступления не обнаружено. Найденное при покойном письмо на французском языке содержит туманные аллегории, могущие быть истолкованы как романтическое послание или масонская переписка частного характера. Учитывая отсутствие явных признаков государственного преступления, полагаю необходимым продолжить розыскные мероприятия, но не предавать дело широкой огласке до выяснения всех обстоятельств. О результатах буду докладывать незамедлительно».

Я намеренно умолчал о Шувалове. Я ни словом не об-

молвился о «Астрее», о «Государе», о тайных собраниях и потайном ходе. Я написал так, словно расследование зашло в тупик, но я, как прилежный служака, продолжаю копать. Это был блеф. Я надеялся, что люди фон Штерна, имеющие, несомненно, своих осведомителей в Управе, прочтут этот рапорт и решат, что я испугался, что я оставил в покое Шувалова, но при этом сохраняю лицо перед начальством. Я надеялся выиграть время. Время, чтобы найти Кулика или его тело, чтобы разыскать свидетелей, чтобы нащупать настоящие улики.

Начальник Управы, старый бригадир Афанасий Петрович Лопухин, прочитал мой рапорт, хмыкнул в седые усы и махнул рукой:

— Ну, копай, Репнин. Только смотри, без шума. Государыня не любит, когда в столице болтают о мертвецах с кислыми лицами. Дурная примета.

Я поклонился и вышел, чувствуя, как на плечи давит невидимая тяжесть. Я сделал ход. Теперь мяч был на стороне противника.

Я просчитался. Горько, фатально просчитался. Люди, с которыми я имел дело, не были обычными преступниками, которых можно обмануть бумажной отпиской. Они были мастерами интриги, прошедшими школу придворных заговоров и масонских таинств. Они не поверили в мою показную пассивность. Они решили уничтожить меня наверняка.

Ровно через неделю, когда я по утрам разбирал почту в

своем кабинете, дверь без стука распахнулась, и вошел бригадир Лопухин. Лицо его, обычно румяное и благодушное, было багровым от гнева. В руке он держал несколько листов бумаги, исписанных мелким, убористым почерком.

— Полюбуйся, капитан! — рявкнул он, швыряя бумаги на стол. — Полюбуйся, что о тебе пишут хорошие люди!

Я взял листы и начал читать. С каждой прочитанной строкой внутри меня всё холодело. Это был донос. Составленный по всем правилам подлого жанра, процветавшего в Российской империи со времен Анны Иоанновны. Анонимный, разумеется, но подкрепленный такими деталями, что не поверить было невозможно.

В доносе утверждалось, что я, капитан Иван Дмитриевич Репнин, «вопреки присяге и долгу службы, вступил в преступный сговор с лицами, промышляющими контрабандой и фальшивомонетничеством». Что я «за мзду немалую покрываю злодеев и отпускаю виновных, препятствуя правосудию». Далее следовали конкретные обвинения.

«В прошлом, 1791 годе, при расследовании дела о фальшивых ассигнациях у Смоленского кладбища, капитан Репнин получил от главаря шайки, купца третьей гильдии Савелия Крутова, взятку в размере пятисот рублей серебром, после чего дело было закрыто, а Крутов отпущен с миром».

«В том же годе, при поимке контрабандистов в порту, капитан Репнин присвоил себе часть изъятого товара — два бочонка французского коньяку и ящик лионского шелку, ка-

ковые были впоследствии обнаружены в его имении под Царским Селом».

«Ныне же, в деле об убитом у Аничкова моста, капитан Репнин намеренно скрывает истинных виновников, ибо связан с ними круговой порукой и получает от них ежемесячное жалование за молчание».

Даты, имена, суммы — всё было подогнано с дьявольской точностью. Я узнал почерк: это была работа профессионалов. Люди Шувалова не поленились поднять архивы, найти старые дела, по которым были осуждены или оправданы разные лица, и переиначить факты так, чтобы я выглядел преступником. Более того, они подделали показания свидетелей и даже, вероятно, подкупили кого-то из моих сослуживцев, чтобы те подтвердили наветы.

— Ваше высокоблагородие, — сказал я, стараясь сохранять спокойствие, — это клевета. Чистейшей воды клевета. У меня нет ни имения под Царским Селом, ни знакомства с купцом Крутовым, ни бочонков с коньяком. Это ложь от первого до последнего слова.

— Ложь?! — Лопухин стукнул кулаком по столу так, что чернильница подпрыгнула. — А это ты как объяснишь?

Он вытащил из-за обшлага еще одну бумагу. Это было «свидетельство», писанное корявым почерком и заверенное подписью и печатью того самого нотариуса Кузнецова, что заверял вексель Пьера. В нем утверждалось, что я лично внес в ломбард значительную сумму серебром, происхожде-

ние коей не могу объяснить.

— Это фабрикация, — повторил я. — Нотариус Кузнецов в сговоре с заговорщиками. Проведите дознание, проверьте мои счета, допросите свидетелей...

— Дознание будет проведено, — перебил меня Лопухин ледяным тоном. — А до тех пор, капитан, вы отстраняетесь от должности. Сдайте дела, оружие и казенные бумаги. И оставайтесь в городе под подпиской о невыезде. Ежели попытаетесь бежать — будете объявлены государственным преступником.

Он развернулся и вышел, оставив меня одного посреди рушащегося мира. Я смотрел на закрывшуюся дверь и не мог поверить в происходящее. Я, капитан лейб-гвардии, потомственный дворянин, верой и правдой служивший престолу, в одночасье превратился в изгоя, в подозреваемого. Заговорщики нанесли удар, от которого, казалось, не было защиты.

Уже к вечеру того же дня я заметил слежку. Соглядатай — неприметный человек в сером сюртуке и картузе — следовал за мной от Управы до самого дома на Гороховой. Он не прятался особо, словно хотел, чтобы я знал: ты под колпаком. Каждый мой шаг известен, каждое слово может быть услышано. Сослуживцы, еще вчера здоровавшиеся со мной за руку, теперь отводили глаза и переходили на другую сторону улицы. В Управе меня встретили ледяным молчанием. Даже старый писарь Тихон, с которым мы не раз коротали вечера за чаем, лишь виновато потупился и пробормотал что-то о

«государевой службе».

Дома меня ждала Анна. Увидев мое лицо, она всё поняла без слов. Она не плакала, не причитала — не та была порода. Жена моя, урожденная княжна Вяземская, обладала твердым характером и ясным умом. Она лишь крепко сжала мои руки и тихо спросила:

— Что будем делать, Ваня?

— Ждать, — ответил я. — Ждать и надеяться, что Господь не оставит нас.

Ночами я лежал без сна, глядя в потолок и слушая, как за окном шумит ветер и скребутся о карниз ветви старой липы. Я прокручивал в голове все возможные варианты. Бежать? Это значило признать свою вину и навсегда погубить не только себя, но и Анну, и всё наше будущее. Остаться и бороться? Но как, если я лишен власти, за мной следят, а враг могуществен и неуловим?

Мысль о крепости — о сырых казематах Петропавловки, где томились враги престола, — теперь не казалась такой уж далекой. Еще один шаг, еще один донос — и меня закуют в кандалы. Заговорщики торжествовали. Они думали, что сломали меня, выбили почву из-под ног, превратили в загнанного зверя.

Но они ошибались. В моей груди, под мундиром, который у меня отобрали, билось сердце офицера, прошедшего ту-рецкую кампанию. И я знал, что отчаяние — плохой советчик, но хороший учитель. Нужно было только выждать, со-

браться с мыслями и найти ту единственную нить, которая выведет меня из этого лабиринта. Заговорщики совершили свою главную ошибку: они оставили меня в живых. А значит, игра еще не окончена.

Глава 5. Новая ловушка.

Решение пришло не сразу. Несколько дней после отстранения от должности я провел в доме на Гороховой, словно зверь в клетке. Слежка не ослабевала: серый человек в картузе неизменно маячил на углу, а когда я выходил прогуляться, за мной увязывался еще один — будто случайный прохожий с тростью. Петербург, город, который я привык считать своим, вдруг стал враждебным. Каждый швейцар у богатого дома казался осведомителем, каждый извозчик — соглядатаем. В Управе Благочиния, куда я зашел забрать личные вещи, писаря отводили глаза, а бывшие сослуживцы делали вид, что не узнают. Лишь старый архивариус Михеич, помнивший меня еще безусым корнетом, шепнул, сунув в руку просфору:

— Уезжай, барин, от греха подальше. Здесь тебя сгноят.

Я понимал: оставаться в столице — значит ждать, пока заговорщики нанесут новый удар. Медлить нельзя. И тогда я решил применить старую военную хитрость: отступить, чтобы ударить. Сделать вид, что я сломлен, уехать в деревню и там, в тишине, подготовить ловушку, наживкой в которой буду я сам.

Анна, жена моя, восприняла весть об отъезде со свойственной ей решимостью. Она не стала плакать или уговаривать меня бороться до конца в Петербурге.

— Едем, Ваня, — сказала она твердо, поправляя выбившуюся из-под чепца прядь каштановых волос. — В Осиновой Роще воздух чище, а стены родные. И стены, и люди. Там нас никто не достанет.

Осиновая Роща — так называлось мое небольшое имение в двадцати верстах от Царского Села по старой Московской дороге. Досталось оно мне от покойного дядюшки, бригадира в отставке, и было невелико: господский дом в восемь комнат, обшитых потемневшим от времени деревом, запущенный сад с прудами, где водились караси, да полторы сотни душ крестьян. Не роскошь, но и не нищета. Главное его достоинство заключалось в уединенности. Ближайшие соседи — отставной майор Пустохин, глухой и вечно пьяный, да вдова-помещица Марфа Спиридоновна, интересовавшаяся лишь урожаем репы да сплетнями. Идеальное место, чтобы затаиться и приготовить ответный удар.

Мы выехали ранним утром, еще затемно. Дорога заняла почти целый день. Моросил всё тот же осенний дождь, превращая проселки в месиво из грязи и жухлой листвы. Карета, запряженная парой сытых, но ленивых лошадок, купленных мной нарочно, чтобы не привлекать внимания, медленно тащилась по разбитому тракту. Я смотрел в окно на голые поля, на черные остовы берез, на низкое, словно налитое свинцом небо, и думал о том, как стремительно изменилась моя жизнь. Еще месяц назад я был капитаном Управы Благочиния, уважаемым человеком, чьи доклады ложились на

стол самой императрицы. Теперь я — беглец, отстраненный от службы, за которым по пятам следуют наемные убийцы.

Но жалость к себе я гнал прочь. Я знал: они не успокоятся, пока не уберут меня навсегда. Им нужен был козел отпущения. Человек, на которого можно повесить и убийство у Аничкова моста, и возможный будущий заговор. Я решил стать этим козлом добровольно. Вернее, притвориться им.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.